

#### IV.4. Оценка научного сообщества и собственного значения

— Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два есть двое учителей. Один без усталости кричит днём и ночью: «Костер Джордано Бруно ещё дымится! Возобновите процесс Галилея!»

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка, I, VIII

**Полузнание.** Полузнание победоноснее законченного знания: оно знает вещи более простыми, чем они суть в действительности, и это делает его мнение более понятным и убедительным.

Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, 578.

С воинствующим антипрофессионализмом связана вопиющая переоценка автором собственной персоны. Как писал А. И. Китайгородский, «Ни в одном сочинении, принадлежащем перу хотя бы самого крупного деятеля науки, мы не встретимся с самовосхвалением, с саморекламой. Учёный создал новую теорию. Он отметит её хорошее согласие с фактами. И всё. Больше говорить он ничего не станет. Насколько хорошей получилась теория, пусть судит сам читатель. Напротив, нескромность есть неотъемлемое свойство рениксы» (Китайгородский 1967: 132)<sup>78</sup>. Антипрофессионал ведёт себя как гуру, как глашатай веры. Учёному незачем так себя вести: он уверен, что истина объективна, а значит — рано или поздно будет доказана так, что убедят и неверующие.

Есть на этот счёт китайская идиома: 夜郎自大 *Yèláng zìdà* — «еланское чванство». Как рассказывает Сыма Цянь, царство Елан находилось в глухих лесах провинции Гуйчжоу, и его правитель считал себя самым могущественным в этом мире. Когда к нему прибыли послы китайского императора У-ди с требованием дани, правитель высокомерно спросил: «Уж не думает ли император, что его царство больше моего?» С тех пор «еланскими гордецами» называют в Китае людей, считающих себя выдающимися лишь потому, что они не знают ни подлинных масштабов белого света, ни действительно выдающихся людей.

Если чуть утрировать и провести богословскую параллель, то в науке есть высшая инстанция для разрешения всех споров, и инстанция эта — выше любого человека, будь он хоть самим Галилеем. Эта инстанция — истина. Но поскольку сама истина определяется как соответствие наших представлений объективным фактам, то получается, что наивысшим авторитетом, превыше человеческого, обладает факт<sup>79</sup>. Перед ним все равны, чем и обеспечивается демократия внутри самой «республики учёных». Обеспечивается лишь в конечном счёте — вопреки неравенству титулов и постов. В антинауке (будь то мистика, постмодерн или лысенковщина)

<sup>78</sup> О понятии «рениксы» у А. И. Китайгородского см. ниже, V.3.1..

<sup>79</sup> Другое дело, что во многих случаях (особенно в гуманитарных науках) затруднительно бывает определить, что вообще считать фактом. Есть «факты-материалы» (единичные события) и «факты-конструкции» (причинно связанные комплексы событий), причем разница между ними весьма условна: то, что на одном уровне рассмотрения будет широким обобщением, на другом окажется элементарным «фактом-материалом». Так, любовь Наполеона к Марии Валевской — «материал» для конструкции «жизнь Наполеона», но сама эта «конструкция» — единичный факт-материал для еще более широкой конструкции «история французской революции», etc. (см.: Ткачук 1996: 57 и далее). Но и эта относительность факта, в свою очередь, относительна. Нельзя, например, утверждать, вопреки надёжным документам, что речь идёт не о Наполеоне и Марии Валевской, а о Бисмарке и Марии Медичи, или что было всё это не в XIX, а в XX веке.

такой инстанции нет: ведь факты — это всегда и только «конструкции», в конечном счёте — пустышки, истина — необъективна и непознаваема, и «нет больше смысла пытаться раскрыть тайну под покровом текстового проявления (именно эту ситуацию я называю текстом или следом)» (Деррида 1998: 51). Но если нет авторитета выше человека, если — по Протагору — «человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют», — то тогда превыше всего становится не просто человек как абстракция, не каждый конкретный гражданин, демократически полноправный независимо от способностей и усилий, а вполне конкретное лицо. Иными словами, отказ от поиска истины ведёт к диктатуре авторитета, а научная полемика при этом заменяется войной школ: кадровой, личной, а если получится — даже и кровавой, в духе религиозных войн. Об этом не следует забывать экзальтированным борцам против «официальной» или «цеховой» (Zünfftige) науки. Их не печатают в изданиях Академии наук, их не приглашают на конференции, им не присуждают Нобелевские премии? Но Лысенко отправлял своих оппонентов в лагеря, и такая же судьба ждала сначала противников «теории полой Земли», а затем и её автора — когда выяснилось, что эта теория ввела правительство в огромные и напрасные расходы по строительству станции на острове Рюген (Повель, Бержье 1994: 310). Какую же норму отношений в науке они хотели бы утвердить — в том числе и для себя самих?!

Розенберг не упоминает о себе в основной части своей книги, хотя его тон крикливого пафоса говорит сам за себя. Но в предисловии к 3-му изданию 1930 г. он отдаёт дань уважения себе, любимому, вспоминая по ходу дела о «бессовестных методах» своих оппонентов и о смиренной рубашке, которую на него предлагали надеть (не будем повторяться — см. I.1), а в 1934 г. добавляет:

«Государственно-политическая революция закончена, однако духовное преобразование только началось. В первом ряду на его службе стоит теперь “Миф XX века”» (Rosenberg 1934: 18).

Гумилёв же оценивал себя без ложной скромности. Мы уже приводили несколько отрывков: «фундаментальное направление советской науки было задержано в своём развитии на 11 лет» — о своих проблемах с публикациями (Гумилёв 1987/1997: 638); шлимановский масштаб своей заслуги — «оспорен односторонний взгляд на монголов» (Гумилёв 1977: 262); «Сегодня вы представляете единственную серьёзную историческую школу в России» (Гумилёв 1991: 132).

Но ещё больше это относится к О. Шпенглеру — не профессиональному историку. Он окончил университет в Галле, где изучал математику и естественные науки. Там же он защитил докторскую диссертацию с правом преподавания этих двух предметов, а также истории и немецкого языка. Три года он работал в гимназии, а затем перешёл на положение свободного литератора (Свасьян 1993: 22),

И не попал он в цех задорный  
Людей, о коих не сужу,  
Затем, что к ним принадлежу.

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин, I, XLIII*

Поэтому выпады против профессиональных историков у него нередки — а это один из важнейших признаков антинауки (Китайгородский 1967: 131). Достаточно указать на одно лишь место: «Я вижу во всемирной истории картину вечного образования и преобразования, чудесного становления и прохождения органических форм.

Цеховой же историк видит их в подобии ленточного глиста, неустанно откладывающего эпоху за эпохой» (Шпенглер 1993: 151).

Напомним издѣвку О. Шпенглера над системным подходом: «Абстрактный учёный, естествоиспытатель, мыслитель системного толка, вся духовная экзистенция которого зиждется на принципе каузальности, есть позднее проявление бессознательной *ненависти* к силам судьбы, непонятного» (Шпенглер 1993: 276). И К. А. Свасьян, поклонник и тонкий ценитель немецкой постклассической философии, в комментарии к этому месту говорит обо «всей этой армии наёмников рационализма, научно глумящихся над Вселенной» (Шпенглер 1993: 643, примеч. 106). Воздержимся от комментариев к этой более чем странной реплике — хотя она вряд ли случайна. Сопоставим с другим комментарием К. А. Свасьяна к «*Закату Европы*»:

«Большинство историков обходят молчанием эту, пожалуй, самую роковую географическую точку в мировой истории последнего тысячелетия, когда усилиями сверхчеловеческого и в высшей степени *антихристианского* разума (изображённого впоследствии Владимиром Соловьёвым в фигуре Антихриста из “Трёх разговоров”) форсировалось нормальное развитие человечества на фоне чудовищного смещения сроков и реализации “*научно-технического прогресса*” уже в средневековой Европе — “Brave New World” Олдоса Хаксли в топике одиннадцатого или двенадцатого христианского столетия! Кроме многочисленных объяснений в лекциях Р. Штейнера <...>, см. также главку “Вирусы Гондишапура” в моей книге “Становление европейской науки” (Ереван, 1990. С. 62—84)» (Шпенглер 1993: 640, примеч. 57 К. А. Свасьяна). Ссылка на теософа Р. Штейнера у уважаемого автора, издателя и классического комментатора Ф. Ницше и О. Шпенглера, достаточно странна: почему бы тогда не использовать в качестве источника исторических «фактов» труды Е. П. Блаватской с её «Лемурией» и прочим? Насколько можно судить, речь идёт о следующих событиях. В 529 г. Юстиниан I закрыл все философские школы в Греции, после чего философы-язычники бежали за пределы Византии. Шах Хосров I Ануширван (531—579) предоставил им место в одной из сасанидских царских резиденций — Гундишапуре, где в 533 г. была восстановлена Академия. Здесь греческая философия смогла пережить смутные века, оказать влияние на мусульманских и еврейских философов, через которых она и вернулась в Европу в эпоху Высокого Средневековья. Теперь на полумистических сайтах эту академию обвиняют в грехе аверроизма, аристотелизма и Бог знает чего ещё, не без указаний, что расцвет её пришёлся якобы на 666 г. — под номером «числа антихриста». Но не увязываются концы с концами: неужели аверроизм или аристотелизм — это идеология «научно-технического прогресса»? Ведь сам Аристотель относил практически полезные знания к ремёслам (τέχνη), а превосходство над ними «первой философии» видел как раз в её совершенной бесполезности (*Μεταφυσικα* 893а, 10). Неужели основание Гундишапурской академии стало поворотной точкой в иранской или вообще чьей бы то ни было истории? И почему 533 г. относится к «последнему» тысячелетию — хотя бы на момент издания цитируемой книги?

А. Дж. Тойнби — дело иное. Профессор истории Лондонского университета, он занимался также социологией. Кроме того, его не раз привлекало на службу Форин оффис (британское МИД) — в качестве эксперта, и дипломатическая работа позволила ему собрать новые факты. Иными словами, свою книгу он написал в своей профессиональной сфере, без дилетантских экскурсов в чужие.

«Общий деморализующий эффект этих трудов был тот, что я медленно, но верно забывал о первоначальном решении *никогда не становиться специалистом*. В 1911 г., будучи аспирантом последнего года обучения, я вдруг с удивлением обнаружил, что поразивший меня порок узкой специализации охватил и моего старшего друга Г. Л. Чизмена, некогда вдохновлявшего меня своим примером и разбудившего мой интерес к поздней Римской империи» (Тойнби 1991: 628; курсив мой. — Л. М.).

Здесь речь идёт лишь о том, чтобы избежать «варварства специализации» (Ортега-и-Гассет 1989, гл. XII), когда учёный превращается в знатока только своего мелкого предмета, сведённого чуть ли не до точки, но сохраняет апломб «мудреца» и тогда, когда ему приходится высказаться о других проблемах — например, о политике или современной молодёжи. Но и обобщение фактов — столь же узкая специальность, не выше и не ниже их добывания. Кто-то должен классифицировать амфорные клейма позднеримского времени, не претендуя на последнее слово по поводу общей картины этой эпохи, кто-то — давать общую картину, не претендуя на дотошное знание амфорных клейм. И как учёные эти специалисты не противостоят друг другу, тем более не царят друг над другом, а сотрудничают. В том-то и состоит разделение труда между фактологическими и номотетическими науками. В этом отношении А. Дж. Тойнби — образец личной скромности. Даже в заключительной автобиографической части своей книги — «*Вдохновение историков*» (Тойнби 1991: 617—642) он лишь рассказывает о себе, но не превозносит свою особу и свой гений.

Шпенглер же порой производит впечатление эгоманьяка. Вот небольшая подборка его высказываний о самом себе и о своём учении:

«Я называю эту привычную для нынешнего западноевропейца схему, в которой развитие культуры вращается *вокруг нас* как мнимого центра всего мирового свершения, *птолемеевской системой* истории и рассматриваю как *коперниканское открытие* в области истории то, что в этой книге место старой схемы занимает система, в которой античность и Запад наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой <...> занимают соответствующее и несколько не привилегированное положение» (Шпенглер 1993: 147; ср.: там же, 156).

«Я учу здесь пониманию *империализма*...» (Шпенглер 1993: 170).

«Кто достиг этой высоты рассмотрения, тому плоды сами падают в руки <...>. Мысль эта принадлежит к числу истин, которые, будучи раз высказаны со всей ясностью, не вызовут уже никаких возражений» (Шпенглер 1993: 174).

«Я рассматриваю это учение как благодеяние для грядущих поколений, поскольку оно указывает им, что возможно и, значит, необходимо и что не принадлежит к внутренним возможностям эпохи» (Шпенглер 1993: 175).

«... подлинно гётевская, восходящая к гётевской идее *первофеномена* процедура, вполне привычная в ограниченном диапазоне сравнительной зоологии и ботаники, но и допускающая в самой непредвиденной степени расширение на всю область истории» (Шпенглер 1993: 273).

«И таким образом, из всего, что было сказано в этой книге о появлении высоких культур, вытекает неимоверное расширение и обогащение исследования души» (Шпенглер 1993: 482).

Со времён лысенковщины в нашей науке, пожалуй, не было слышно такого самоуверенного тона.

Воинствующие выпады В. Н. Дёмина против профессиональной науки и антипатриотичных «историков-снобов», глядящих на мир «из мышиной норы», повторяются на протяжении всей книги (Дёмин 1997: 22, 24, 32, 33, 39, 48, 89, 90, 99, 471, 487). По мнению автора, «то, что в общественном мнении считается наукой, на самом деле представляет собой сумму более или менее верных взглядов на определённый фрагмент действительности, событие или проблему. Группа интерпретаторов объявляет собственное видение вопроса истиной в последней инстанции и, обладая монополией на владение и распространение информации, всеми доступными средствами старается утвердить в общественном мнении только свою (а не какую-то другую) точку зрения» (Дёмин 1997: 48—49). Тем самым всё переводится на уровень религиозной войны, наука — всего лишь заговор сектантов против своих оппонентов (другой группы таких же сектантов), а роль эксперимента равна практически нулю. Чего стоит одно лишь скромное притязание:

«Я знал, что найду Гиперборею, и мы её нашли! Всё — точка! Начинается новый отсчёт времени. Остаётся внести необходимые коррективы в писаную историю (а если уж быть совсем точным — заново переписать её)» (Дёмин 1997: 487).

Но раз ненавистная «официальная наука» — лишь конвенция специалистов, то ничто не мешает и нашему автору поступать так же. В «Приложении 3» он вспоминает: «Этот вопрос мне довелось задать главному теоретику и разработчику торсионно-вакуумной модели Космоса Г. И. Шипову, предложив использовать в качестве методологической основы для поиска оптимального решения философские принципы русского космизма. В личной беседе Г. И. Шипов согласился интерпретировать соответствующим образом полученные им математические выводы» (Дёмин 1997: 532). Эта конвенция очень напоминает соглашение, которое Единорог предлагает Алисе: «Можем договориться: если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя! Идет?» (Л. Кэрролл, Алиса в Зазеркалье, гл. VII).

Кстати, о переворотах в исторической науке. Они постоянно происходят и без слома рамок научности. Иначе мы до сих пор учили бы историю по Иловайскому — с дополнениями насчёт последующих событий. Это связано с тем, что каждая эпоха вглядывается в прошлое, как в «свет мой, зеркальце», ища в нём ответы на *собственные* вопросы. В этом и состоит смысл «истории, которая нас интересует», по К. Р. Попперу (1993 {1957}: 171—172). Но при этом обычно меняются не сами факты, а оценки их смысла и (главное) критерии отбора. Не отбирать их мы не можем, иначе утонем в море фактологического материала, который не вместился бы во все книги мира, поэтому и пользуемся заведомо неполной картиной, к тому же обобщённой и упрощённой. Но если критерием отбора служит «злоба дня», то источник фактов — это всё-таки *реальное* прошлое, известное по документам. Допустим, упоминания античных авторов о проблемах экономики не были интересны историкам до начала индустриальной эры, когда эти вопросы оказались в центре внимания самих европейцев, а школа «*Анналов*» уже занималась не столько экономикой, сколько «структурами повседневности». В наши дни, похоже, важнее история представлений. Но это не значит, что сообщения о ценах при Диоклетиане или организации ремесла по византийской «*Книге эпарха*» стали ложными: они отложены на дальнюю полку, только и всего. Точно так же как не стала ложной механика Ньютона только оттого, что в дальнейшем физики занялись другими проблемами.

Правда, не вся наука отвергается: автор пытается найти предтеч и сторонников «гиперборейской теории», на которых сочувственно ссылается. Это: В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, В. К. Третьяковский (Дёмин 1997: 24—26), Д. И. Иловайский (: 27), Л. Н. Гумилёв (: 39), А. В. Барченко (: 10 особенно), Р. Генон (: 199), А. И. Асов, Э. фон Деникен (: 80), Флорентино Амегино (: 85), Н. Я. Марр (: 30), И. Великовский (: 96). Как видим, в этом списке серьёзные для своего времени учёные соседствуют с мистиками и фантастами. Особое внимание привлекают, конечно, их «гениальные догадки» (то есть не проверенные ими самими) или отвергнутые гипотезы. Почему они были отвергнуты — анализа нет. Тем более не говорится, что М. В. Ломоносов был силен в физике и химии, но не в истории, что в споре с А. В. Шлёцером он исходил не из научных, а только из патриотических соображений (в том виде, как сам их понимал), а этимологии В. К. Третьяковского с его времени и по сей день служат темами анекдотов. Как ни странно, в этом списке не значится такой горячий патриот арктической прародины человечества, как Г. Вирт. Не знал о нём В. Н. Дёмин — или всё же постеснялся называть? А ведь одно это имя говорило бы о том, что В. Н. Дёмин напрасно считал свою концепцию оригинальной.

Однако и здесь мы видим картину «еланской гордости»: собственные заслуги кажутся значительными лишь потому, что автор не знает истории науки. Вот единственная в книге развёрнутая ссылка на Л. Н. Гумилёва: «Классическая схема научного познания очерчена Львом Гумилёвым. Любую проблему можно рассматривать по меньшей мере тройко: с точки зрения мышиной норы, с вершины кургана и с высоты птичьего полета» (Дёмин 1997: 39). Неужели эту схему не очерчивал больше никто — со времён Ф. Бэкона и Г. Галилея до наших дней? И верно ли, что точек зрения всего три? Это чисто художественное замечание.

Точно так же автор ломится в открытые двери в другом случае: «У нас ведь как принято относиться к фольклорным произведениям? К сказке, например? Как к чисто развлекательному жанру. А сказке той, быть может, десятки тысяч лет и донесла она до нынешних дней дыхание наших далеких прапредков, осколки их тотемного мышления, наивно-целостного мирозерцания» (Дёмин 1997: 44). Тогда чем же уже 200 лет, со времён И. Г. Гердера и братьев Гримм, занимаются все фольклористы мира? Значение сказок для антропологов не приходится доказывать. Их происхождению посвятил свою классическую монографию В. Я. Пропп (*«Исторические корни волшебной сказки»*), причём он не был столь прямолинеен и не искал *конкретных событий*, лежащих в основе поездки Ивана-царевича верхом на Сером Волке, или «этносоциального смысла» Курочки Рябы (Дёмин 1997: 364). Больше того, обоснованно критиковал подобные попытки в трудах Б. А. Рыбакова.

Претендуя на роль историка религий, В. Н. Дёмин на самом деле незнаком и с этой сферой. Так, он полагает: «Не лишено вероятности, что Соловецкий монастырь — краса и гордость современных Соловков — построен на месте древних дохристианских святилищ. Известный искусствовед и исследователь древнерусской культуры проф. *Вера Григорьевна Брюсова* поделилась с автором личными впечатлениями о своих многочисленных поездках на Север: у неё сложилось твёрдое убеждение, что многие православные культовые постройки возведены на месте древних языческих капищ» (Дёмин 1997: 168—169; ср.: 209—210).

Но это вовсе не открытие, церковь действительно так и поступала. Ещё папа Григорий I Великий так и советовал в письме Меллиту, будущему епископу Лондона, от 601 г.:

«Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены. Уничтожив находящихся в них идолов, возьмите святую воду, и окропите эти капища, и воздвигните в них алтари, и поместите святые реликвии. Ибо если храмы выстроены прочно, весьма важно заместить в них служение идолам службой Истинному Богу. Когда эти люди увидят, что святилища их не разрушены, они изгонят заблуждения из своих сердец и с большей охотой придут в знакомые им места, чтобы признать Истинного Бога и молиться Ему» (Бэда Достопочтенный I, 30).

Так что это не ново и давно замечено в поговорке: «свято место пусто не бывает». К тому же место, выбираемое для церкви и для языческого храма, должно обладать схожими признаками.

У Н. С. Трубецкого мы не находим сомнений, столь свойственного историческому мифотворчеству. Нигде он не превозносит себя и не хвалится своим «коперниканским» (то есть, как мы уже видели, шпенглеровским) переворотом в истории. Зато «европейская наука» у него явно не вызывает симпатий и в «*Европе и человечестве*» обвиняется в смертных грехах. Постоянно повторяются ссылки на разделяемые этой наукой мифы о «первобытном» строе, о том, что отсталые народы эволюционно ниже европейцев, и т. п.

Но всё это относится не к науке в целом, а только к одной из научных школ — классическому эволюционизму, действительно чреватому расистскими выводами, притом даже не ко всему эволюционизму, а лишь к его приложению в социальной и культурной антропологии. Между тем, «хотя эволюционная теория одна, теорий эволюции несколько, и выбор между ними не прост» (Вишняцкий 2002: 78). Действительно, ни один учёный сегодня не сомневается в *факте* эволюции органического мира и в происхождении человека от обезьяны. А вот надуманность *конкретных* схем эволюции форм семьи и религии по Дж. Лаббоку, Э. Б. Тейлору, Л. Г. Моргану стала ясна уже при жизни их создателей. Однако кризис *классического* эволюционизма в антропологии обозначился уже в 1880-х годах. Исследования того времени в самых разных регионах показали, что реальная жизнь первобытных племён не укладывается в его упрощённые стадийные схемы. К 1920 г. (году выхода «*Европы и человечества*») эволюционизм и расизм были далеко не единственными школами в европейской антропологии. Более того, даже в эпоху своего расцвета эволюционизм не господствовал безраздельно. Кроме него, в ту же эпоху процветали такие направления, как диффузионизм, французская социологическая школа, исторический партикуляризм Ф. Боаса (ставший могильщиком классического эволюционизма в антропологии), наконец, циклизм (центром которого стала Россия, хотя самым известным его представителем в то время был как раз Шпенглер).

Всего этого многообразия школ Н. С. Трубецкой даже не замечает. Эволюционизм кажется ему догмой европейской науки — настолько, что не обязательно даже называть имена критикуемых авторов. Он был бы отчасти прав, если бы говорил не о «европейской науке», а о массовом сознании европейского обывателя. Да и в этом сознании эгоцентрические предрассудки были не главными: не мешали же они европейцам средневековья и эпохи Великих географических открытий признавать турок и китайцев хоть и чужими, но не худшими? Гораздо большую роль

играл фактор экономический, фактор прямой выгоды: ведь колониальное господство означало и колониальные товары, и высокий уровень жизни в метрополии.

Однако более всех на поле борьбы с «официальной наукой» отличился Г. Вирт. Это постоянно повторяет сочувствующий ему комментатор: «Проект Вирта был неудобен вдвойне, поскольку он не только привлекал новые, “невалидные”, “эвристически негодные” дисциплины (вроде атлантологии), но также открыто провозглашал свою оппозиционность по отношению к “либеральной науке прошлого”» (Кондратьев 2007: 43). Чтобы не быть многословными, рассмотрим лишь одно из множества из его утверждений на эту тему:

«Однако во все века преждевременно высказанная истина представлялась критическому большинству непростительной ошибкой: те, кто казнил Лавуазье, отравил Сократа цикутой, посадил в тюрьму Галилея и сжёг Джордано Бруно, были по своему правы — именно как представители *scientific community*, не приемлющие никаких новаций. Таких узкоспециализированных чиновников от науки в Германии называли словечком “Zunft” [цех — Л. М.], а в России зовут “мохнатыми”» (Кондратьев 2007: 43).

Здесь что ни слово, то — не ошибка, а ложь. Лавуазье был казнён не за открытие своего закона, а как видный откупщик Старого режима, наука тут ни при чём. Сократ опять же был казнён не учёными, а толпой, и не за открытие новых истин — этого ему и в вину не вменяли. Вспомним формулировку его обвинения: «Сократ, говорят они, преступает закон тем, что развращает молодых людей и богов, которых признаёт город, не признаёт, а признаёт другие, новые божественные знамения» (Платон, *Апология Сократа*, 24b-c), причём Сократ эти обвинения отводит, доказывая, что не нарушает официальные нормы религии (там же, 26e-27e). Так что и здесь борьба шла не в научной области (не будем уж ворошить старую проблему, является ли наукой философия). С Бруно и Галилеем сложнее.

Во-первых, с ними расправилась не наука, а церковь: эту разницу «непризнанные гении» упорно не хотят замечать. И если им кто-либо верит, — значит, наше общество, несмотря на 300 лет «просвещения сверху», всё ещё больше склонно к мифологическому, чем к разумному мышлению. К слову сказать, никакого *scientific community* (научного сообщества) в современном смысле до Галилея ещё не было.

Во-вторых же, роль Бруно как мученика именно науки сильно преувеличена. Его идея множественности обитаемых миров по тому времени не была научной, ибо не предполагала никакой возможности доказательства (то, что она больше соответствует современной научной картине мира, чем картина по Библии или Птолемею, — дело другое, но это выяснилось гораздо позже). Так что на тот момент это был не спор науки и религии (научной истины и веры), а спор двух форм веры. Достаточно напомнить, что у Бруно были собственные философские идеи, подтверждения которых он ждал от науки, но не собственные научные открытия. Прочитав Коперника, он воспринял его труд не как научную гипотезу, нуждающуюся в доказательстве, а как слово Откровения — и повёл себя не как учёный, а как пророк. Конечно, никому не придёт в голову оправдывать его палачей, но в тех обстоятельствах легко было предвидеть исход такой проповеди.

Что же касается Галилея, одного из создателей науки в современном смысле слова, то он нащупывал пути к своему исследовательскому методу единственным путём, который вообще знает наука, — методом проб и ошибок (Поппер 1993:

88, сн.3). И ошибался не раз. Оставим уж в стороне явно провокационные выпады П. К. Фейерабенда (1986), который обвиняет Галилея чуть ли не в простом мошенничестве, сам же — не сделал ничего, хоть отдалённо сопоставимого с его открытиями. Но недавний подробный анализ отношений между Галилеем и его оппонентами (Дмитриев 2006) рисует куда более сложную картину, чем известный нам с детства галилеевский миф. Судя по всему, современные лжеучёные действительно вправе ставить себя на одну доску с великим флорентийцем — но только не в его достижениях, а в его ошибках.

Его противники вовсе не были мракобесами и врагами всего нового, учение Коперника для них долго не было ересью. Напомним, что это было время, когда католическая церковь только ещё оправлялась от ударов протестантизма и с трудом согласовывала свою догматику с новыми условиями. Достаточно сказать, что Тридентский собор, занимавшийся этим вопросом, длился с перерывами 18 лет — он был одним из самых долгих в истории. Могла ли церковь пожертвовать всем, чего она добилась с таким трудом, ради идей двух человек (Коперника и Галилея), правота которых не была очевидна?!

Изданная в 1543 г., книга Коперника была признана еретической лишь в 1616 г. после долгих дискуссий в самой церкви, к тому же была запрещена с формулировкой не «на веки веков», а «donec corrigantur» («до исправления» — Дмитриев 2006: 336). Ведь его модель Вселенной была полезна для календарных расчётов, что признавали многие церковники, к тому же для уточнённых астрономических данных, только что полученных Тихо Браге, модель Птолемея уже явно не годилась. А модель вовсе не обязана описывать реальность всесторонне. До сих пор курсы кораблей прокладывают исходя из модели неподвижной Земли и вращающегося неба: такие расчёты проще и притом достаточно точны для практических нужд. При этом формулировка «до исправления» предполагала *возможность* исправления, — а значит, не запрещала ни дальнейшие работы в этой области, ни её обсуждение в узком кругу специалистов. Запрещалось лишь выносить этот вопрос на широкую и неподготовленную аудиторию, чтобы не создавать панику без веских к тому причин. Но и наука осуждает преждевременные и сенсационные публикации, причём и здесь от авторов при этом требуется не отречение, а доработка.

Галилей же, вторгшись в эту сферу (уже после папского решения, а значит, идеологизированную), не смог обосновать свою правоту. Ведь перед ним встала проблема доказательности своих выводов — та самая проблема, которая и отличает науку от любой другой сферы. Вот выдержка из резюме автора исследования:

«Беллармино, как и многие другие теологи, вовсе не считал, что некое научное утверждение ложно *потому, что* оно противоречит Библии. Скорее, он допускал обратное — оно потому противоречит Библии, что ложно. Драматизм же ситуации для Галилея состоял именно в том, что чем более он вдумывался в проблему доказательства, тем яснее осознавал — его доводы ничего не доказывают и не опровергают, *circulus vitiosus*<sup>80</sup> — неизбежен. Даже когда фактологическая достоверность его наблюдений не ставилась под сомнение (а такое, как мы видели, случалось далеко не всегда), предметом спора оставалась их теоретическая интерпретация» (Дмитриев 2006: 373).

---

<sup>80</sup> *Circulus vitiosus* (лат.) — «порочный круг» в доказательстве: истинность некоего положения доказывается тем, что оно с самого начала неявно признано как истинное.

В таком положении решающую роль приобретали внеученные факторы — от борьбы католической церкви с протестантами до личного покровительства. В этих условиях Галилей повёл себя прямолинейнее, чем мог себе позволить. Например, многие иезуиты — в частности, кардинал Роберто Беллармино — были готовы поддержать гелиоцентрическую систему Коперника и Галилея — при условии «неопровержимых доказательств физической истинности гелиоцентризма» (там же: 378): без этого они не могли рисковать. Они признавали аргумент Августина Блаженного, на который Галилей постоянно ссылаясь: если бы кто-нибудь *неопровержимо* доказал, что небо, например, — не шатёр, а сфера, богословам пришлось бы изменить своё толкование Писания. Но доказательства правоты Коперника появились лишь многие годы спустя. Чтобы их получить, потребовался совместный труд учёных и философов от Бэкона до Ньютона, этот труд занял весь XVII век.

Итак, чего же хотели церковники (и даже инквизиторы) от Галилея? Именно и только того, чего любой нынешний учёный требует от себя сам. *В первую очередь* — неопровержимого доказательства его правоты. Однако, повторим, Галилей не только не нашёл такого доказательства, но убедился в том, что его наблюдения лишь описывают следствия, но не позволяют судить об их причинах. Этому посвящена вся третья глава книги И. С. Дмитриева. Например, ему казалось, что приливы вызываются вращением Земли, а значит, само существование приливов говорит о таком вращении. Это классический порочный круг, где два недоказанных положения служат «доказательством» друг для друга. Между тем И. Кеплер из неверных (астрологических) посылок пришёл к верному выводу — что приливы вызываются влиянием Луны на Землю (там же: 291).

Итак, бесспорных доказательств нет? Тогда, *во-вторых*, от Галилея потребовали, чтобы он признал систему Коперника не абсолютной истиной, а гипотезой, подлежащей дальнейшему обсуждению. Ведь именно претензия на абсолютность ведёт к непреодолимым логическим парадоксам. В эту ловушку за тысячу лет до Галилея попало катафатическое богословие: если Бог всемогущ без малейших ограничений, сможет ли он сотворить такой камень, чтобы сам не смог его поднять? Но в науке, как известно, нет абсолютных доказательств, есть лишь конфирмация теории — повышение вероятности того, что она истинна. И механика Ньютона была доказана не «абсолютно» (после Эйнштейна это уже банальность), а всего лишь более основательно, чем любые конкурировавшие с ней теории. Мы помним, что учение Коперника было запрещено «до исправления». Но эти исправления, перечисленные в декрете Конгрегации Индекса от 1 мая 1620 г., выглядят очень скромно: «зачем же ещё нам сомневаться» — заменить на: «не следует ли нам допустить?», «нам не стыдно признать» — на «предположить» и т. п. (там же: 345—348 сн. 724—734). А суть теории и после такой правки оставалась неизменённой.

Итак, если Галилей не мог доказать теорию Коперника неопровержимо, он должен был признать за ней роль гипотезы, подлежащей дальнейшей проверке. В этом случае она вышла бы из поля идеологических дебатов. Но Галилей не сделал и этого. Он по-прежнему считал себя пророком истины, более того — вёл борьбу ненаучными средствами (например, с помощью высоких покровителей и саморекламы). Иными словами, из сферы науки вышел в сферу веры, где действуют совсем иные законы полемики. А верить умели и церковники — не слабее его самого. Вот тогда, и только тогда, наступило *в-третьих*:

1. если не можешь доказать свою идею неопровержимо,
2. и не можешь признать, что недоказанная идея — не более чем одна из многих возможных, —
3. тогда не выноси проблему за пределы круга специалистов, не будоражь людей, для которых научный спор — всего лишь партийный вопрос, не вызывай нездоровых сенсаций.

Но в наши дни любой настоящий учёный предъявляет к себе такие требования сам, без «помощи» инквизиторов. В конце концов, идеи Эйнштейна были ещё более нетривиальны, чем галилеевские. До сих пор мало кто за пределами круга профессиональных физиков может внятно объяснить, в чём суть его открытий и почему они означают, что Ньютон был не вполне прав. Почему же Эйнштейна не заставили отречься, как Галилея? Почему не приняли как лжеучёного (нападки в Германии по внеученым соображениям оставим в стороне)? Ведь и он потребовал изменить всю физическую картину мира ради своих идей?

Во-первых, Эйнштейн представил убедительные и проверяемые аргументы. Его правота была подтверждена независимой проверкой, которую могли осуществить даже его противники — и получить результаты, объяснимые только предложенной теорией. Во-вторых, его идеи касались проблемы, которая к этому времени была осознана всем учёным сообществом именно как *проблема*. Никому до него не пришла в голову корпускулярно-волновая теория света. Но всем учёным уже было ясно, например, что радиоактивность необъяснима с позиций тогдашних представлений о материи, что эти представления *пора* менять. Наконец, в-третьих, Эйнштейн не отверг прежние законы (ньютоновской механики) и тем более не объявил их «обманом человечества»: они оказались частным случаем его новых законов, вполне применимым в тех случаях, когда точность до микрона не нужна. Реформатор сам чётко очертил сферу, в которой есть смысл применять его законы, и выйти за эти границы не пытался.

В любом случае, процесс Галилея — это не преследование гения учёными, а преследование учёного идеологической властью. К несчастью, советская система, никогда не отказывавшаяся от примата «единственно верного учения» во всех сферах мысли, продолжила именно эту традицию. Тезис о «партийности науки» (то есть о внеучёных корнях научных интересов) в СССР понимался буквально. Отсюда попытки заменить «буржуазную» АН СССР Коммунистической академией или создать особую «пролетарскую биологию» — параллельно с созданием «арийской физики» в Германии (Колчинский 2007). В результате получил новую жизнь средневековый стиль восприятия науки, с которым мы теперь и сталкиваемся — от собственно научной среды до широкой публики.

Это и есть благодатная почва для воинствующего дилетантизма, производившего диссертации на темы вроде «Марксистско-ленинское учение и проблемы языкознания» или «История партийной организации Мухоединского консервного завода». После 1991 г. этим «бойцам идеологического фронта», так и не понявшим, чем же отличаются их труды от научных, пришлось сменить идеологию, чтобы оставить в неприкосновенности «творческую манеру». Бывшие «товарищи» перекалвалифицировались в мистиков и националистов: ведь в этой сфере, как и в сулловском варианте советского марксизма, не обязательно что-либо знать — достаточно уметь выдержать принятый тон.

Так что есть место для робкой надежды, что в бывшем СССР мы видим не триумф антинауки, а лишь её разоблачение и арьергардные бои. К сожалению, как мы ещё увидим, положение в этой сфере на Западе не даёт оснований для подобного оптимизма.

#### **IV.5. «Художественные» определения**

*Смертью у нас называют сокращение функциональных единиц.*

*С. Лем. Звёздные дневники, Путешествие 13*

*Метафора... У лжи десятки таких подпольных кличек!*

*С. Довлатов. Компромисс 5-й*

Нечёткость логики предполагает нечёткость понятий, которыми такая логика оперирует. Ясное и операциональное определение — главное открытие Сократа. Не за это ли его не любят интуитивисты — от Ф. Ницше (*«Рождение трагедии из духа музыки»*) до Л. Н. Гумилёва, причислившего его к теоретикам «негативных философий» (1997: 545) вместе с другими фигурами «косевого времени»?

Правда, это общая беда гуманитарных наук, где определяемый объект может протестовать против того, как его определили (ср.: Лефевр 2000: 7). В физике теплопроводность не потребует, чтобы отныне её понимали как-то иначе. А вот исследуемые люди могут активно вмешаться в процесс своего исследования и сами постановить: отныне мы, например, — не этнографическая группа, а этнос (или нация, или как-то ещё), или отныне наша страна называется не Бирмой, а Мьянмой, — и учёный не может эффективно возражать, на какую бы теоретическую базу он ни опирался. Кроме того, не везде такая теоретическая база вообще достаточно разработана. Поэтому, кстати, каждый автор, пишущий, к примеру, о культуре, должен в начале работы указать, как он это слово понимает: например, полностью отождествляет её с цивилизацией, как А. Дж. Тойнби, или полностью ей противопоставляет, как О. Шпенглер. Речь не об обмане читателя: определение культуры, удобное для искусствоведа, для археолога может оказаться недостаточно операциональным (то есть неподходящим для решения тех задач, которые он ставит перед собой). Именно поэтому у мифа уже 500 определений, а у культуры — 1500.

Мы уже видели, что Розенберг полностью пренебрегает этим требованием. Определения расы у него нет вовсе (см. I.4), определение мифа — неудовлетворительно и нарушается самим же автором в том же абзаце, в котором дано (см. I.8). Повторять эти аргументы нет резона.

Мы видели также (II.4, п. 2; Гумилёв 1997: 28), что Л. Н. Гумилёв уклоняется от внятного определения этноса. Однако с другими понятиями у него тоже немало странностей. Заглянем в его *«Словарь понятий и терминов»* (Гумилёв 1997: 605—611), по сути своей являющийся сводом определений. Чем-то он напоминает Даниила Андреева с его болезненной фантастикой: *«Крагр»* — слой, где происходят битвы уицраоров» и т. п. Конечно, Л. Н. Гумилёв — не Д. Л. Андреев, у него нет всех этих «затомисов» и «брамфатур», непонятно из какого языка взятых. Термины вроде бы традиционные — либо принятые в науке, либо составленные по научным правилам, а вот комментарии к ним...

*«Время историческое»* — процесс управления энергетических потенциалов между элементами этносферы, нарушаемый пассионарными толчками» (: 605).